

Эволюция постсоветских режимов

Двадцатилетняя история посткоммунизма иллюстрирует необычность всей истории XX века. Его отличает ожесточенная коллективная борьба резко антагонистичных друг другу картин человеческого будущего. В противоположность этому, XXI век кажется более циничным | **СТИВЕН ХЭНСОН**

По мере приближения двадцатой годовщины распада СССР среди ученых и аналитиков вновь разгораются споры о том, как оценивать и трактовать марксистско-ленинский эксперимент прошлого века от его подъема и расцвета до упадка и краха. Какое наследие он после себя оставил? Поскольку почти повсюду в мире используется арабская десятичная система счисления, психологически объяснимо, почему в этом году мы думаем об этом чаще, чем, скажем, в тринадцатую или восемнадцатую годовщину падения Советского Союза. «Круглые» даты становятся естественными точками притяжения для коллективных действий в различных социологических контекстах ¹. Поэтому неудивительно, что и социологи стремятся приурочить к подобным юбилеям широкие дискуссии, призванные выявить коллективное мнение о положении вещей в соответствующей научной области.

Несомненно также, что специалисты, занимающиеся трансформациями коммунистических и посткоммунистических режи-

мов, к 2011 году уже имели на руках достаточно четкие версии произошедших изменений, чтобы приступить к их сравнительному изучению. В самом деле, «посткоммунистический разлом» на Европу и Евразию, проанализированный Жаком Рупником еще в 1999-м в связи с другой важной годовщиной — десятилетием падения Берлинской стены, за последующие двенадцать лет только расширился ². Посткоммунистические страны, которым повезло быть допущенными в Европейский союз во время первой и второй волн его расширения на Восток, в настоящее время обладают устойчивой демократией и обошлись (за исключением редких случаев националистических эксцессов в некоторых из них) без ожесточенных межгосударственных и межэтнических конфликтов. В противоположность этому три из пяти постсоветских государств Центральной Азии до сих пор остаются под руководством авторитарии еще советской эпохи. В Туркменистане (еще одном постсоветском государстве Центральной Азии) после смерти в 2006 году абсолютного диктатора Сапармурата Ниязова наметилась вялая либерализация. Наконец, в пятой центральноазиатской стране, Кыргызстане, к хронической полити-

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ В СТАТЕЙНЫЙ ФОРМАТ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТИВЕНА ХЭНСОНА НА КОНФЕРЕНЦИИ "POST-SOVIET SPACE: TWENTY YEARS AFTER THE COLLAPSE OF COMMUNISM", ПРОШЕДШЕЙ В ЕВРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ИЕРУСАЛИМЕ 16–17 МАЯ 2011 ГОДА

ческой нестабильности добавились вызывающие беспокойство вспышки насилия на этнической почве (между киргизами и узбеками). В странах же, расположенных между этими двумя полюсами, почти всюду у власти стоят разного рода «гибридные режимы», которые иногда экспериментируют с конкурентными выборами, что позволяет оппозиционным группам время от времени поучаствовать в политической жизни; однако в целом для этих режимов характерны длительные периоды квазипатримониального правления и незаинтересованности в создании и укреплении правового государства³.

“Необходима общая теория эволюции режимов, которая подскажет, в каких временных рамках институциональные изменения становятся научно репрезентативными”.

Теперь, когда после краха коммунизма прошло двадцать лет и упомянутые выше тенденции развития посткоммунистических режимов устоялись, можно было бы прийти к некоторым согласованным выводам по данной проблематике. Следовало бы, например, признать, что теории, предсказывавшие быстрый переход посткоммунистического мира к демократии в результате кропотливой работы посткоммунистических элит над конституциями⁴, оказались просто неверными, и не только в постсоветском контексте, но и вообще. Напротив, нужно с полной определенностью сказать, что то направление научной мысли, которое делало упор на институциональное наследие и географическую среду в качестве факторов, определяющих пределы возможных трансформаций режимов, подтвердило свою состоятельность⁵. Мы должны отвергнуть некоторые положения теории модернизации, придававшие преувеличенное значение культурным корням демократических ценностей и на этом основании предсказывавшие высокий

уровень «гражданской культуры» в высокоурбанизированной среде с образованным населением в главных промышленных центрах Советского Союза⁶. Примерно одинаковая траектория экономического развития таких евразийских стран, как Россия и Украина, после 1991-го (несмотря на резкие различия в стратегиях проведения экономических реформ) позволяет нам отбросить также предположение о зависимости макроэкономических результатов в Евразии и в любом другом месте от скорости приватизации, либерализации цен и обеспечения стабильности конвертируемой валюты⁷. Напротив,

те аналитики, которые подчеркивали важность создания на посткоммунистическом пространстве эффективных политических институтов как предпосылки надежного обеспечения прав собственности и создания исправно функционирующих финансовых систем⁸, оказались правы.

Короче говоря, результаты поставленного самой историей эксперимента в области эволюции режимов, каковым оказался распад Советского Союза, обеспечили огромный прогресс в научном осмыслении важнейших политических и экономических процессов, происходящих в современном мире. Располагая данными о трансформации посткоммунистических режимов за два последних десятилетия и наблюдая новые явления, например, революции 2011 года в арабском мире, социологи способны сегодня продвигаться вперед, не тратя времени на бесплодное обсуждение ошибочных гипотез, утверждающих, в частности, будто незамедлительного проведения демократических выборов достаточно, чтобы обеспе-

читать успешный «переход» к демократии на Ближнем Востоке, что новые информационные технологии эффективно нейтрализуют наследие колониального и авторитарного прошлого, что главным фактором, который определит политическое развитие этого региона в будущем, явится степень вовлеченности арабского населения в «гражданскую культуру» под влиянием модернизации и что успешное экономическое развитие на Ближнем Востоке требует немедленного прекращения государственных вливаний в привилегированные отрасли, приватизации государственной собственности и проведения жесткой монетаристской политики. Вместо того, чтобы уповать на маловероятную возможность появления крупного мыслителя с принципиально новыми теоретическими взглядами, которые позволили бы успешно прогнозировать дальнейшее развитие событий, огромному большинству социологов уже давно следовало бы целенаправленно заняться анализом того, как политическое и социально-экономическое институциональное наследие, доставшееся арабам от рухнувших авторитарных режимов, в сочетании с оказываемым на них давлением и благоприятными возможностями, обусловленными географической близостью Ближнего Востока к центрам мирового развития, могло бы повлиять на эволюцию режимов в странах этого региона.

Однако ничего подобного не происходит. Почему? В этой статье я утверждаю: основная причина отсутствия научного прогресса, который мог бы иметь место на основе анализа данных и материалов двадцатилетней эволюции посткоммунизма, заключается в том, что мы пока так и не смогли договориться, что следует считать решающим, определяющим доводом в пользу произошедших изменений или, наоборот, неизменности режима. При более тщательном рассмотрении становится понятно,

что строгий научный подход не позволяет считать промежуток времени, равный 20 (а не — скажем — 10, 13 или 27) годам, наиболее представительным для оценки итогов политических, экономических и культурных изменений в странах бывшего советского блока. Рассуждая логически, для решения вопроса о том, какие именно институциональные изменения должны приниматься в расчет при выборе между конкурирующими оценками изменений режима, необходимо сначала четко сформулировать общую теорию эволюции режимов, которая подскажет, в каких временных рамках то или иное институциональное изменение становится научно репрезентативным. Одни аналитики утверждают, что кажущаяся неточность прогнозов относительно политических и экономических перемен на посткоммунистическом пространстве не означает неточности теорий, на которые эти прогнозы опираются, так как в более длительной перспективе упомянутые теории оказываются правильными; например, Андерс Ослунд утверждает, что массовая приватизация в ельцинской России, на протяжении большей части 1990-х годов казавшаяся катастрофической, в эпоху Путина стала источником быстрого экономического роста в стране⁹. Другие аналитики могут утверждать обратное: в рамках короткого временного интервала их теории оказываются правильными, а долгосрочные результаты в принципе непредсказуемы, и, следовательно, теоретикам даже не стоит пытаться их предвидеть¹⁰. И вправду, поскольку у нас нет ничего, что хоть сколько бы напоминало консенсуальную теорию эволюционного изменения режимов, отсутствует и профессиональная заинтересованность в отслеживании того, насколько точны конкретные социальные прогнозы, тем более что ни профессиональный статус, ни вознаграждение ученых не зависят от того, в какой мере сбываются их предсказания¹¹.

Ключевые элементы эволюционной теории

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо решить некоторые базовые эпистемологические проблемы в социальных науках. Как уже было сказано, существует проблема длительности временного отрезка, по истечении которого мы можем с основанием судить, сбился или не сбился теоретически обоснованный прогноз изменений режима. Однако за этой проблемой кроется еще более фундаментальная: а что следует считать «изменением режима»? Удивительно, но, несмотря на недавний всплеск интереса к «типам режимов» в сравнительной политологии, у нас до сих пор нет общепринятого определения термина «режим». А как следствие отсутствует и приемлемая методика проведения различий между фундаментальной трансформацией режима и другими видами институциональных изменений. Политические события, которые одним ученым кажутся радикальной сменой политического строя, другими оцениваются лишь как поверхностные перемены, маскирующие глубинную историческую преемственность, и наоборот.

Например, Арчи Браун¹² утверждает, что после прихода к власти Михаила Горбачёва советский «ленинизм» в СССР сменился социал-демократией, то есть произошла фундаментальная смена типа режима. Но если это так, то нам придется признать, что избрание Горбачёва Генеральным секретарем на заседании Политбюро в марте 1985-го — столь же революционное событие, как и распад СССР в декабре 1991 года. Оба этих события являются примерами фундаментального «изменения режима»: в первом случае это переход от ленинизма к демократическому социализму, а во втором — переход от социализма к радикальному капитализму. Побывав в России в 1986 и 1992 годах, я был свидетелем того, насколько по-разному

простые люди реагировали на эти две «революции»: первую они изначально встретили с очевидным массовым скептицизмом, а вторая резко и драматически меняла привычный для них образ жизни¹³. Но как бы ни оценивать этот конкретный случай, главное заключается в том, что в настоящее время у нас нет общепризнанной теории, с помощью которой можно было бы научно определить тот момент, когда прекращает свое существование один режим и ему на смену приходит другой.

Несколько схематизируя, специалистов по сравнительной политической науке, занимающихся долгосрочными историческими трансформациями, можно разделить на две группы. Первая сфокусирована на институциональных изменениях, вторая — на изменениях режима, или режимных изменениях. К первой группе принадлежат такие ученые, как Пол Пирсон, Кэтлин Зелен и Джеймс Махони, которые бьются над тем, как подойти к проблеме пат-зависимых процессов с позиций теории рационального выбора в ее микрополитической версии, описанной в работах Дугласа Норта¹⁴ и Брайана Артура¹⁵, и которые пришли к выводу, что научная традиция рационального выбора вовсе не противоречит более ранним структуралистским концепциям исторических изменений¹⁶. В работе Зелен о типах профессионально-технического обучения, охватывающей более чем вековой период немецкой истории, подчеркнута удивительная преемственность в этой области, несмотря на приходящиеся на это время закат Второго рейха, падение Веймарской республики, крах нацистской империи, послевоенный раздел и последующее воссоединение страны¹⁷. Аналогичным образом Махони¹⁸ прослеживает итоги развития Латинской Америки, связывая их с особенностями европейских колониальных завоеваний в этом регионе, которые имели место несколько столетий назад. К сожа-

лению, ни один из этих авторов не уделяет достаточного внимания причинам, непосредственно обуславливающим бросающиеся в глаза смены типа режима в рамках выбранной ими хронологии. Поэтому радикальные режимные трансформации в описываемые авторами периоды (взлет и падение нацизма у Зелен и подъем и упадок перонизма в Аргентине у Махони) выглядят — в широком историческом контексте — скорее этапами преемственного развития. Конечно, ни одно исследование не может дать ответы на все

благодаря новым *case studies*. Недавно в рамках этой традиции Стивен Левицки и Лукан Уэй провели превосходное исследование, проанализировав десятки «гибридных режимов», возникших после окончания холодной войны и располагающихся между полюсами демократии и автократии. При этом такие «гибридные режимы» рассматриваются как устойчивые политические системы, способные просуществовать сравнительно долгое время²⁰. Но поскольку отсутствует большая дедуктивная теория, из которой бы выводились

“Политические события, которые одним ученым кажутся радикальной сменой политического строя, другими оцениваются лишь как поверхностные перемены”.

вопросы, и в этом свете выполненная авторами аналитическая работа по выявлению причин поразительного воспроизводства одних и тех же институтов на протяжении столетий вполне заслуженно может быть названа новаторской. Как бы то ни было, основное внимание Зелен и Махони уделяют источникам преемственности, а не перемен, поэтому они и не дают нам прочной теоретической базы для понимания более радикальных, революционных периодов истории, когда рушится весь институциональный дизайн (к числу таковых может быть отнесен и крах ленинизма в 1989–1991 годах).

Другая группа компаративистов основное внимание уделяет объяснению краткосрочных изменений режимов. При этом они опираются на типологию режимов, представленную в работах Роналда Даля, Хуана Линца и Альфреда Штепана с их акцентом на противопоставление демократии авторитаризму. Варианты этих базовых типов режимов, появляющиеся в результате присвоения к «демократии» и «авторитаризму» разного рода «прилагательных»¹⁹, включаются в научную повестку дня, как правило,

лишь различные типологии режимов, представленных в этих работах, любые суждения о том, какие изменения режима считать «решающими», ситуативны и сделаны *ad hoc*. Например, Линц и Штепан²¹ оценивают переход от сталинизма к постсталинизму в странах советского блока как изменение типа режима — от «тоталитаризма» к «посттоталитаризму». Согласно их анализу, страны, которые выросли из режимов первого типа, существенно отличаются от тех, которые наследуют режимам второго типа. В противоположность этому Марк Ховард согласен с Кеном Джоуиттом, определяющим весь период советского эксперимента с 1917-го по 1991 год как «ленинизм», и анализирует ленинистское наследие как теоретически одно и то же во все периоды²². Сам факт, что между учеными, работающими в рамках одной и той же таксономической традиции, могут существовать столь серьезные разногласия по ключевым вопросам классификации режимов, препятствует поступательному движению научного знания.

Путаница, возникающая в связи с базовыми проблемами классификации, присуща

не только общественным наукам. Многие естественные науки тоже переживали длительные периоды споров об их основополагающих понятиях, и только решение подобных проблем делало возможными периоды стремительного прогресса. В химии, например, в Средние века господствовали алхимики, и такое положение сохранялось почти до конца XVIII века, когда Антуан Лавуазье и Джон Дальтон разработали атомомолекулярную теорию строения химических веществ, которую позже, в XIX веке, формализовал Дмитрий Менделеев. Эта теория объясняет, почему элементы с разными атомными числами, например свинец, золото и т. д., являются минимальными, элементарными «строительными блоками» для более сложных химических соединений. Точно так же ожесточенная борьба между статичным пониманием биологических видов Карлом Линнеем и динамическим их пониманием Чарлзом Дарвином завершилась лишь в начале XX столетия, когда были открыты генетические основы эволюционных изменений, что позволило биологам определить «вид» (применительно к большинству научных задач) как совокупность живых организмов, способных к интербридингу — скрещиванию внутри вида — и производству фертильного потомства. После таких научных прорывов опыты по превращению свинца в золото стали выглядеть просто антинаучными, а обнаружение новых видов, образовавшихся в разных эволюционных условиях благодаря генетическим мутациям и рекомбинациям, стало обычным делом.

Подобные аналогии должны помочь нам найти научные способы определения базовых «строительных блоков» политических и экономических режимов, с тем чтобы достичь такого же уровня научного согласия по основным понятиям, как в биологии. Однако странным образом многие ведущие социологи, занимающиеся широкими сопо-

ставлениями того, как изменяются режимы во времени и пространстве, предпочитают вместо этого «эклектичный» подход к теории, что позволяет сохранить размытую, половинчатую позицию между конкурирующими теоретическими традициями²³. Между тем ответ на принципиальный вопрос, какой результат в исследованиях изменений режима считать «конечным», можно найти только на основе общей теории, которая установит эпистемологические принципы в социальных науках. Подход, базирующийся на методологической эклектике, обречет нас на десятилетия бесплодных дискуссий на тему уроков политической истории; решение же стоящих перед нами проблем будет больше зависеть от идеологических установок исследователя, нежели от результатов беспристрастного научного анализа.

К эволюционной теории изменений режимов

Я убежден, что существует возможность использовать результаты напряженной работы в области сравнительных исследований посткоммунистических перемен за последние двадцать лет для достижения значительного прогресса в развитии социальных наук. Для этого нужно собрать всю информацию последнего двадцатилетия, а также использовать всё знание, накопленное за два столетия существования наук об обществе, и создать общую теорию эволюции режимов наподобие теории Дарвина, которая стала пользоваться общим признанием в эволюционной биологии в начале XX века. Кроме того, следует обратить пристальное внимание на концептуальные особенности теории Дарвина, которые позволили биологам-эволюционистам достичь столь широкого консенсуса в отношении базовых дефиниций и стандартов измерения. Примечательно, что начиная с конца XIX столетия почти все социологи неправильно интерпретировали

или неправильно применяли логику рассуждений Дарвина, и это часто приводило к ошибочным, а то и просто ничемным результатам.

Конкретно теория Дарвина построена на трех постулатах:

- природа вносит изменения в биологические «типы» постоянно и случайным образом;
- распределение видов с разными типологическими особенностями в любой момент всецело зависит от естественного

«передавать» приобретенные знания следующим поколениям. Этот вывод подкрепляет убаюкивающую мысль о том, что эволюция человека (в отличие от биологической эволюции по Дарвину) идет в понятном для науки направлении, а именно будущее общество строится путем аккумуляции культурного багажа предшествующих обществ и этот путь обеспечивает непрерывное «совершенствование».

Но как только мы принимаем сторону Ламарка, а не Дарвина в вопросе о том, как

“Подход, базирующийся на методологической эклектике, обрекает нас на десятилетия бесплодных дискуссий на тему уроков политической истории”.

отбора, обусловленного окружающей средой, и полового отбора в процессе воспроизводства;

- отсюда следует логический вывод, что особенности, приобретенные в течение жизни конкретной биологической формы, никогда не передаются потомству.

За последние 150 лет получено огромное количество эмпирических подтверждений теории Дарвина, что доказывает ошибочность всех разновидностей «креационизма», согласно которому виды произошли независимо друг от друга, а также конкурирующей с дарвинизмом эволюционной теории Жана-Батиста Ламарка, который предполагал, что энергичные усилия, предпринимаемые особями с целью улучшить свои характеристики, могут обеспечить следующим поколениям преимущество в эволюционной борьбе. Странно, что социологи, интересующиеся эволюционной теорией, начиная с Герберта Спенсера и позже Толкотта Парсонса и кончая современными авторами, решительно отвергают третий постулат Дарвина, настаивая, что «культурная эволюция происходит по Ламарку», поскольку люди способны

возможна передача наследственных особенностей потомству, распадается вся логическая структура эволюционной теории Дарвина. Это происходит потому, что определение вида в Дарвиновой теории основано на понимании того, что в каждом конкретном случае ветви эволюционного дерева можно проследить только по динамике репродукции. Например, собаку можно научить приносить дичь, ложиться по команде, переворачиваться и даже играть с мотком шерсти, но никакая дрессировка не позволит создать новый вид собаки или превратить собаку в кошку. Если бы такие формы видообразования в духе Ламарка оказались эмпирически возможны, биологи-эволюционисты были бы не в состоянии провести четкие границы между биологическими видами в любой данный момент времени, так как каждый из видов претерпевал бы постоянные изменения. Например, собаку, играющую с клубком, следовало бы классифицировать как «гибридную собаку», то есть как вид, промежуточный между собакой и кошкой, поскольку никому неизвестно, к чему в конечном счете приведет процесс «эволюционных» изменений по Ламарку.

Недостаточно просто утверждать, что для проведения научного анализа общества не нужны строгие и единообразные дефиниции единиц социальной эволюции, поскольку «существует множество уровней эволюционных изменений и естественного отбора»²⁴. Вместо этого нам следовало бы всем вместе разобраться в концептах и терминологии, и только тогда мы сможем с успехом воспользоваться теорией институциональных изменений в дарвиновском духе.

Исходя из такого рода соображений, многие биологи-эволюционисты, занимающиеся

социальной жизни могут быть как биологическими, так и культурными²⁶. При этом идея Доукинза и его последователей, что «культурная эволюция» идет скорее через мемы, нежели через гены, концептуально недостаточно разработана, чтобы на ее основе делать надежные прогнозы того, как будет меняться тот или иной режим. Невзирая на это, социобиологи продолжают настаивать, что в конечном счете большинство мемов (если только не все), которые доказали свою социальную жизнеспособность, можно проследить вплоть до первоначального генети-

“Взлет и падение советского блока в ретроспективе двух последних десятилетий представляет собой *case study* в рамках «дарвиновской» теории эволюции режимов”.

проблемами социальных изменений, пришли к мнению, что вся институциональная эволюция в конечном итоге должна быть сведена к биологическим (в особенности генетическим) механизмам. Эта идея лежит в основе традиции «социобиологии», разработанной Эдвардом Осборном Уилсоном и его сотрудниками²⁵. Однако логика теории Дарвина не требует того, чтобы первичным источником, порождающим изменения, был генетический механизм. Ведь когда Дарвин писал «Происхождение видов», он ничего не знал о генетической эволюции. Ему достаточно было знать только то, что виды по каким-то причинам постоянно и нерегулярно изменяются, что разные формы, возникающие в ходе этого процесса, имеют разные шансы на репродукцию в данной среде, и, наконец, что никакие другие типы изменений, кроме «естественного отбора», не оказывают видимого влияния на «виды», образующиеся в ходе смены поколений. Ричард Доукинз утверждает, что до тех пор, пока мы придерживаемся трех постулатов Дарвина, единицы эволюционного воспроизводства

ческого механизма, возникшего на ранних стадиях биологической эволюции²⁷.

Взлет и падение советского блока в ретроспективе двух последних десятилетий представляет собой великолепный *case study* в рамках поистине дарвиновской теории эволюции режимов. В течение семидесяти с лишним лет определенные правила организации политической жизни (от ритуального цитирования сакральных текстов Маркса, Энгельса и Ленина правящими элитами до постоянных заявлений, что ленинская партия неизменно является авангардом мирового пролетариата) довольно точно воспроизводились во времени и в пространстве, так или иначе определяя политическую жизнь трети человечества. Во времена Сталина столь же обязательные правила организации социоэкономической жизни на принципах коллективного сельского хозяйства и «призывающего к героическим свершениям» промышленного планирования продемонстрировали способность власти воспроизводить себя. Даже на уровне культуры во всем ленинистском блоке суще-

ствовали устойчивые правила эстетической оценки, которые соблюдались настолько строго, что статуи Ленина, установленные в городах Восточной Европы и Евразии (от Тираны до Бишкека), в целом похожи одна на другую. Но после революций 1989–1991 годов ни одно из этих обязательных правил организации политической, экономической и культурной жизни не перешло к следующему поколению в сколько-нибудь полном виде (исключение составляют несколько стран Восточной Азии). Коммунистические партии сохранились, но уже без прежних жестких марксистско-ленинских идеологических подпорок, наследие планового хозяйства продолжает определять экономическую судьбу миллионов людей, но уже без центральных планирующих органов, пытающихся укрепить систему, а обязательные в коммунистическую эпоху художественные образы если теперь и вспоминают, то только с иронией.

Ни ламаркианский, ни социобиологический подходы к эволюции режимов, очевидно, не обеспечивают полного представления об истории ленинизма. Известно, что были ситуации, когда институциональные правила генерировались более или менее случайным образом, затем происходил их отбор социальной средой, и далее они существовали на большой территории и в течение длительного времени, но в итоге оказались не способны адаптироваться к изменившимся условиям и «вымерли», не оставив заметных отпечатков на дальнейшем культурном и историческом «прогрессе». Более того, весь этот процесс, от начала и до конца, уложился менее чем в одно столетие, а этого времени совершенно недостаточно, чтобы как-то проявились изменения в генофонде. Социологам нужно воспользоваться прекрасной возможностью, которую предоставил им крах коммунизма, чтобы попытаться более точно определить, что именно в социальной среде постоянно порождает институциональ-

ные эксперименты марксистско-ленинского толка. Почему в одних случаях институциональное экспериментирование длится десятилетиями, а в других – быстро сходит на нет, и, самое главное, почему в некоторых случаях поколения, которые создали и поддерживали определенные институты, не могут повлиять на новые молодые поколения с тем, чтобы те соблюдали прежде обязательные формы поведения.

В основных чертах описанная выше точка зрения на взлет и падение ленинизма как на часть общего процесса «эволюции» режима положена в основу фундаментальной работы Кена Джоуитта, вышедшей в 1992 году²⁸. До сих пор актуальный, теоретический подход Джоуитта к сравнительному изучению ленинизма и постленинизма своим успехом во многом обязан удачно построенной и действительно динамической, а не статичной классификации «типов режимов», опирающейся на социологическую теорию Макса Вебера²⁹. Нельзя не отметить, однако, что порой Джоуитт использует эволюционные метафоры стилистически недостаточно точно, то есть не так, как того требует научное теоретизирование. И хотя весьма привлекательной особенностью работы Джоуитта является ее выразительный язык, присущий ей риторический пыл, возможно, мешает более широкому признанию его несомненно очень важной теории компаративистами.

В моей недавно вышедшей книге «Постимперские демократии: идеология и формирование партий в Третьей республике, Веймарской Германии и постсоветской России»³⁰ я попытался более четко сформулировать социальную теорию Вебера, уделив (в отличие от Джоуитта) внимание строгому методологическому индивидуализму Вебера и его утверждению, что люди в своей основе существа экспрессивные и интерпретативные. На мой взгляд, эта комбинация аксиом

занимает уникальное место среди четырех ныне существующих основных социологических парадигм. Теория рационального выбора основана на методологическом индивидуализме, но предполагает, что человеческие поступки не являются экспрессивными, а следуют определенной стратегии. Разработанные Эмилем Дюркгеймом и Толкоттом Парсонсом варианты «теории модернизации» исходят из того, что человек — существо скорее интерпретативное, нежели стратегически мыслящее, но вместе с тем опираются на методологический структурализм. Наконец, марксистский подход к социальным изменениям, являясь и структуралистским, и стратегическим, полностью отвергает обе аксиомы Вебера. Я полагаю, что почти всеобщий отказ признать устремленность Вебера как к методологическому индивидуализму, так и к интерпретативному взгляду на социальное действие является следствием того, что комментаторы в большинстве своем просто неправильно понимают уникальный теоретический подход немецкого ученого и пытаются свести его к другим, более привычным парадигмам социологии.

Между тем веберовская парадигма открывает уникальные возможности для разработки дарвинистского (но не социобиологического) подхода к эволюции режимов. Методологический индивидуализм Вебера побуждает социологов выводить вариации макросоциологических результатов из наблюдаемых взаимодействий индивидуальных акторов, а это позволяет более точно определить эволюционные механизмы, которые генерируют институциональные правила, способные к самовоспроизводству. Настойчивость, с которой Вебер утверждает, что люди, в сущности, интерпретативные акторы, позволяет нам избежать неоправданного сведения социальной эволюции к генетическим или другим биологическим механизмам. Короче говоря, политическая

социология Вебера исходит из того, что биологические индивидуумы, имеющие мозг достаточно крупный, чтобы символически осмысливать окружающую среду, способны предлагать авторитетные правила упорядочения поведения, которые принимаются другими индивидами, тем самым создавая институты, функционирующие относительно автономно от генетических механизмов, действующих в рамках биологической эволюции³¹. Так, в некоторых случаях *homo sapiens* как вид способен на институционализированное поведение, ведущее к разрушению окружающей среды, без которой биологическое выживание этого вида невозможно³².

Существуют свидетельства того, что Вебер понимал свои социологические теории именно в дарвиновских терминах. Его попытки определить предметную область социологии как изучение «интерпретативных существ», отражены, например, в дискуссии о возможности «социологии» высших приматов. Вебер пришел к выводу, что подобная социология может стать действительностью лишь тогда, когда ученые научатся понимать символическую картину мира, присущую животным, в такой степени, что будет понятна их истинная мотивация³³. И он не отбрасывал подобную возможность категорически. В противоположность современным социологам Вебер утверждал, что как только какая-либо форма жизни приобретает способность к образному мышлению, автоматически начинает функционировать новая, негенетическая и эмерджентная форма эволюции.

Именно в таком контексте Вебер определил ключевой эволюционный механизм создания общественного порядка как уникальную способность индивидуумов предлагать символические формы «социальной закрытости», устанавливающие границы между человеческими сообществами. *Homo sapiens* обладает способностью предлагать «теории членства», не базирующиеся на гене-

тическом родстве, но тем не менее быстро принимаемые в качестве субъективных реалий теми, кому они адресованы. Многие десятилетия исследований в области социальной психологии убедительно показывают, что люди на редкость легко меняют свое поведение ради того, чтобы поспособствовать членам «своей» группы, даже если идентификация группы абсолютно произвольна и появилась совсем недавно³⁴. Индивидуумы, выдвигающие новые удачные дефиниции групповой идентичности, часто способны

означает ситуацию тотального господства; вероятность подчинения, равная нулю, означает отсутствие отношений господства. Вебер утверждает, что господство не может поддерживаться в широких масштабах только за счет инструментальных мотиваций, поскольку получатели приказов, придерживающиеся инструментальной рациональности, будут выполнять их только в тех случаях, когда существует прямая угроза возмездия; как только конкретные социальные обстоятельства меняются, меняется и модель под-

“Исследования в области социальной психологии показывают, что люди легко меняют свое поведение ради того, чтобы поспособствовать членам «своей» группы”.

иницировать коллективные действия в поддержку субъективно определяемых «членов» данной группы, которые тем самым имеют шансы получить эволюционные преимущества (социальные и биологические), приняв концепцию принадлежности к группе, во всех других отношениях совершенно мифической.

Если субъективные концепции членства предусматривают обязанность подчиняться лидерам группы, то это порождает еще большую меру социальной власти. Эта идея составляет основу веберовского анализа господства. Довольно странно, что предложенные им три типа «легитимного господства», особенно «традиционный» и «целерациональный», сейчас воспринимаются социологами как статичные описания форм социального порядка, или социальных «систем» в терминологии Парсонса. Однако сам Вебер явно определял господство в динамических терминах как «вероятность того, что конкретные команды», отданные определенными лицами, будут исполняться всеми другими. Стопроцентная вероятность подчинения команде, отданной лидером,

именно поэтому Вебер утверждал, что «легитимное господство» (когда подчинение субъективно воспринимается как обязанность члена группы или как юридическое обязательство, вытекающее из какой-либо концепции группового членства), как правило, прочнее и генерирует большую меру социальной власти по сравнению с господством в отсутствие легитимности. Блестящая гипотеза Вебера гласит, что люди рассматривают подчинение лидерам как свою обязанность по одной из трех причин:

- данная модель подчинения является «традиционной» для сообщества;
- подчинение оправдывается абстрактными рациональными принципами, принятыми при данной форме правления;
- получатель приказов считает лицо, отдающее приказы, представителем сверхъестественной «харизматической» миссии или силы, которой он обязан подчиняться.

Эта эволюционная интуиция Вебера является ключевой для объяснения, почему — в результате случайного генерирования различных религиозных или идеологических принципов в конкретных социальных кон-

текстах — могут неожиданным образом возникнуть новые формы режима.

Теперь мы в состоянии понять, каким образом социологию Вебера можно интерпретировать как дарвинистскую и соответствующую всем трем центральным постулатам теории естественного отбора.

Во-первых, появление социальных вариаций в теории Вебера носит принципиально случайный характер; индивиды постоянно предлагают новые формы социальной закрытости благодаря своей способности к символическому пониманию группового

поведение, приводящее просто к разрушению материальной основы субъективной групповой идентичности. Другие проекты вызывают враждебную реакцию влиятельных конкурирующих групп, ведущую к остракизму или полицейским мерам, что делает маловероятным дальнейшее воспроизводство такой маргинальной групповой идентичности.

Однако иногда новая идея групповой идентичности оказывается эмоционально привлекательной и физически осуществимой, и тогда может возникнуть новый устойчивый институт, скрепляющий эту идентичность.

“В дезорганизованной среде, оставшейся после краха советской системы, создание новых форм легитимного господства оказалось сильно затруднено”.

членства³⁵. Конечно, дальнейшее изучение биологических основ функционирования человеческого мозга может обнаружить неизвестные до сих пор естественные ограничители этого процесса. Однако история человечества показывает, что, несмотря на пределы, заданные человеческой природой, диапазон возможных толкований человеческой идентичности чрезвычайно широк.

Во-вторых, судьба конкретных проектов социальной закрытости полностью зависит от того, смогут ли они воспроизводить себя в данной социальной и природной среде. Большинство поистине новаторских идей новой групповой идентичности, подобно большинству генетических мутаций в эволюционной биологии, окажутся неспособными к адаптации и относительно быстро исчезнут. Некоторые проекты (такие как групповая идентичность секты «Небесные врата» в Сан-Диего, члены которой совершили массовое самоубийство в марте 1997 года, поскольку они верили в то, что с пролетом кометы Хейла-Боппа открылся портал времени) в конечном счете порождают дисфункциональ-

В частности, проекты группового членства с ясными принципами подчинения власти, когда-то положительно зарекомендовавшие себя на данной территории, могут породить новые политические и социальноэкономические «типы режимов», которые более или менее точно воспроизводят их существенные институциональные особенности на обширных территориях посредством (а) предоставления материальных благ для «обращения в свою веру» еще не присоединившихся индивидов; (б) монополизации легитимных средств насилия для подавления неподчинения; (в) воспитания молодых поколений в духе признания справедливости установленного порядка.

В-третьих, тот факт, что требуется религиозное или идеологическое воспитание молодого поколения с тем, чтобы обеспечить институциональное воспроизводство режима, ясно показывает, что механизм веберовской социальной эволюции действует по Дарвину, а не по Ламарку. Как бы старательно ни изучал индивид учрежденные принципы режима и как бы горячо он ни принимал

их, его потомство рождается в состоянии счастливого идеологического неведения. Врожденная творческая способность человеческого мозга побуждает молодых людей по мере их взросления исследовать альтернативы господствующей доктрине; история учит, что режимные элиты сталкиваются с трудностями в деле воспитания нового поколения сторонников режима и его институтов. Если задача рекрутирования нового «штата» людей, признающих легитимность конкретной формы господства, заканчивается неудачей, то прежде крепкий режим может ослабеть и сократиться до небольшой ниши, удерживаемой им в мире, или же совсем исчезнуть. При таком раскладе вовсе не гарантировано, что социальная история движется вперед к какому-то определенному набору ценностей. Ответ на вопрос о том, является успешное воспроизводство некоторых типов режимов либо исчезновение других их типов «прогрессом человечества» или «упадком цивилизации», всецело зависит от субъективного взгляда наблюдателя.

Заключение: ленинизм и постленинизм в эволюционной перспективе

Приведенные выше соображения являются лишь приблизительным наброском развернутой веберовской теории эволюции режимов. Все, что мы узнали за последние двадцать лет о взлете, падении и наследии советской империи, соответствует этой теории. Рухнув, советская система оставила после себя дезорганизованную, зачастую хаотичную среду, в которой коллективные действия по созданию новых форм легитимного господства оказались сильно затруднены³⁶. Там, где хорошо организованные альтернативные типы режимов — благодаря их географической близости к некоторым странам бывшего советского блока — сумели оказать решающее влияние на амбициозных политиков и предпринимателей этих

стран, была относительно успешно осуществлена переориентация политических партий и государственной бюрократии на новые институциональные нормы. В итоге либеральный капитализм смог утвердиться в Восточной и Центральной Европе и в Прибалтийских странах, тогда как элиты стран Центральной Азии предпочли китайскую модель авторитарного этатизма. Для Евразии типичны «гибридные режимы», поскольку новые формы легитимного господства (традиционные, целерациональные или харизматические) не выработаны. Самое удивительное, что даже спустя двадцать лет в самой Российской Федерации отсутствует общепринятое определение политического строя, которое могло бы убедить простого россиянина в том, что поддержка им государственных институтов является поистине патриотическим долгом, а не просто вопросом выгоды³⁷. В результате социальная среда остается бесплодной и не рождает харизматических лидеров, которые могли бы предложить совершенно новое видение национального, имперского или религиозного величия и собрали бы вокруг себя хотя бы небольшое число преданных сторонников для изменения статус-кво.

Вернемся к вопросу, который побудил автора написать эту статью: можем ли мы дать научную оценку эволюции постсоветских режимов после двадцати лет их политических, экономических и культурных изменений? Я утверждаю, что наши представления о механизмах эволюции режимов все еще недостаточно точны, чтобы позволить нам уверенно выдвинуть конкретные научно обоснованные гипотезы. Однако использование веберовского эволюционного подхода к институциональным изменениям все же позволяет с определенной долей уверенности говорить о главных уроках последних двадцати лет. Если считать этот период примерно равным времени взросления молодого

поколения, мы получим надежный репер для предварительных выводов о развитии институтов в пределах одного поколения. Я убежден, что простое перенесение прежних формальных институциональных правил на новые электоральные режимы и/или рыночные экономики не способно в полной мере объяснить результаты эволюции режимов после крушения империи. Наверное, нельзя ожидать, что за время, равное одному поколению, будут выработаны и успешно институционализированы новые формы легитимного господства; постсоветский опыт показывает, что постимперская институциональная турбулентность может длиться десятилетиями. Тем не менее двадцати лет достаточно, чтобы страны с благоприятным институциональным наследием и удачным географическим положением смогли успешно воспроизвести у себя формальные институты стабильных и консолидированных режимов соседних стран.

Двадцатилетняя история посткоммунизма служит хорошей иллюстрацией необычности всей истории двадцатого века. Конкуренция между тремя хорошо институционализированными типами режимов (фашистским, ленинистским и либерально-капиталистическим), которая формировала социальную жизнь четырех поколений от Первой мировой войны до революций 1989 и 1991 годов, в ретроспективе предстает как уникальный эволюционный период, когда

шла ожесточенная коллективная борьба глубоко интернализированных и резко антагонистичных друг другу картин человеческого будущего. В противоположность этому, XXI век кажется более циничным, и теперь люди во всем мире (особенно в постсоветской Евразии), видимо, пришли к убеждению, что они являются носителями инструментального рационализма, провозглашенного неоклассической экономической теорией.

Парадоксальным образом эта культурная особенность служит поддержанию глобальной гегемонии режимов либерально-капиталистического типа, преимуществом которых является их легитимность, порожденная успешной идеологической мобилизацией, которая имела место много столетий назад. Однако вопреки известной гипотезе Фукуямы о «конце истории»³⁸, ни биологическая, ни социальная эволюция полностью не остановились. Экологические вызовы в диапазоне от глобального потепления до дефицита пресной воды и социальные вызовы со стороны новых харизматичных визионеров с радикальными антилиберальными концепциями социальной закрытости несомненно приведут к крупным сдвигам в глобальном статус-кво. Теория Вебера позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать, что следующие два десятилетия в Европе и в остальном мире будут столь же турбулентными, как и рассматриваемый нами период. ■

ПРИМЕЧАНИЯ¹ См., например: *Pfaff S., Guobin Y.* Double-Edged Rituals and the Symbolic Resources of Collective Action: Political Commemorations and the Mobilization of Protest in 1989 // *Theory and Society*. Vol. 30. No 4. 2001. Aug. P. 539–589.

² *Rupnik J.* The Postcommunist Divide // *Journal of Democracy*. Vol. 10. No 1. 1999. Jan. P. 57–62.

³ См.: *Hale H. E.* Democracy or Autocracy on the March?: The Colored Revolutions as the Normal Dynamics of Patronal Presidentialism // *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 39. No 3. 2006. P. 305–329; *Levitsky S., Way L.* Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.

⁴ См.: *Di Palma G.* To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions. Berkeley: Univ. of California Press, 1990.

⁵ См.: *Jowitt K.* New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: Univ. of California Press, 1992; *Hanson S. E.* The Leninist Legacy and Institutional Change // *Comparative Political Studies*. Vol. 28. No 2. 1995. July. P. 306–314; *Kopstein J., Reilly D. A.* Geographic Diffusion and the Transformation of the Postcommunist World // *World Politics*. Vol. 53. No 1. 2000. P. 1–37; *Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule* / G. Ekiert, S. E. Hanson (eds). Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2003.

⁶ *Levin M.* The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpretation. Berkeley: Univ. of California Press, 1987.; *Fukuyama F.* The Modernizing Imperative: The USSR as an Ordinary Country // *National Interest*. Vol. 31. 1993. Spring. P. 10–18.

⁷ *Sachs J. D.* Poland's Jump to the Market Economy. Cambridge, MA; London: MIT Press, 1993; 1993. *Åslund A.* Russia's Success Story // *Foreign Affairs*. Vol. 73. 1994. Sept.-Oct. P. 58–71.

⁸ *Cirtautas A.* The Post-Leninist State: A Conceptual and Empirical Examination // *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 28. No 4: 1995. P. 379–392; *McFaul M.* Russia's Unfinished Revolution: Political Change from Gorbachev to Putin. Ithaca, N. Y.: Cornell Univ. Press, 2001.

⁹ *Åslund A.* Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Capitalism Failed. Wash., D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2007.

¹⁰ *Geddes B.* Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research in Comparative Politics. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 2003.

¹¹ *Tetlock R.* Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2006.

¹² *Brown A.* The Gorbachev Factor. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1996.

¹³ *Kotkin S.* Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970–2000. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001; *Yurchak A.* Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2006.

¹⁴ *North D. C.* Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1990.

¹⁵ *Arthur W. B.* Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1994.

¹⁶ *Pierson P.* Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2004; *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power* / J. Mahoney, K. A. Thelen (eds). Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2010.

¹⁷ *Thelen K.* How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2004.

¹⁸ *Mahoney J.* Colonialism and Post-Colonial Development: Spanish America in Comparative Perspective. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2010.

¹⁹ *Collier D., Levitsky S.* Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research // *World Politics*. Vol. 49. No 3. 1997. Apr. P. 430–451.

²⁰ *Levitsky S., Way L.* Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War...

²¹ *Linz, J. J., Stepan A. C.* Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996.

²² *Howard M. M.* The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2003.

²³ *Sil R., Katzenstein P. J.* Beyond Paradigms: Analytical Eclecticism in the Study of World Politics. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010; *Kohli, A.* et al. The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium // *World Politics*. Vol. 48. 1995. Oct. P. 1–49.

²⁴ *Steinmo S.* The Evolution of Modern States: Sweden, Japan, and the United States. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2010.

²⁵ *Wilson E. O.* Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1975.

²⁶ *Dawkins R.* The Selfish Gene. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1989.

²⁷ *Barash D. P.* Sociobiology and Behavior. N. Y.: Elsevier; 1977; *Dennett D. C.* Consciousness Explained. Boston: Little, Brown and Company, 1991.

²⁸ *Jowitt K.* Op. cit.

²⁹ World Order after Leninism: / V. Tismaneanu, M. M. Howard, R. Sil (eds). Seattle: Herbert J. Ellison Center for Russian, East European and Central Asian Studies, Univ. of Washington Press, 2003.

³⁰ *Hanson St. E.* Post-Imperial Democracies: Ideology and Party Formation in Third Republic France, Weimar Germany, and Post-Soviet Russia. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2010.

³¹ *Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 2 Vols. / G. Roth, C. Wittich (eds). Berkeley: Univ. of California Press, 1978.

³² *Diamond J.* Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. N. Y.: Viking, 2005.

³³ *Weber M.* Op. cit.

³⁴ *Tajfel H., Turner J.* An Integrative Theory of Intergroup Conflict // Psychology of Intergroup Relations / W. G. Austin, St. Worchel (eds). Chicago: Nelson Hall, 1979. P. 33–47; *Hale H. E.* The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World. Cambridge; N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2008.

³⁵ См.: *Steinmo S.* The Evolution of Modern State: Sweden, Japan, and the United States.

³⁶ *Jowitt K.* Op. cit.

³⁷ *Hanson St. E.* Post-Imperial Democracies: Ideology and Party Formation...

³⁸ *Fukuyama F.* The End of History? // National Interest. 1989. Summer.